Владимир Войнович

Монументальная пропаганда

ФТМ

Владимир Войнович

Монументальная пропаганда

«ФТМ»
2000

Войнович В. Н.

Монументальная пропаганда / В. Н. Войнович — «ФТМ», 2000

Новые времена и новые люди, разъезжающие на «Мерседесах», – со всем этим сталкиваются обитатели города Долгова, хорошо знакомого читателю по роману «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина».Анекдоты о новых и старых русских невероятно смешны. Но даже они меркнут перед живой фантазией и остроумием Войновича в «Монументальной пропаганде».Вчерашние реалии сегодняшнему читателю кажутся фантастическим вымыслом, тем более смешным, чем более невероятным.А ведь это было, было…В 2001 году роман был удостоен Госпремии России по литературе.

© Войнович В. Н., 2000
© ФТМ, 2000

Содержание

Пролог 5
Часть первая 6
1 6
2 8
3 9
4 10
5 13
6 15
7 17
8 20
9 22
10 25
11 27
Конец ознакомительного фрагмента. 28

Владимир Войнович
Монументальная пропаганда

Пролог

Я открыл конверт, из него выпала кривая газетная вырезка площадью в спичечный коробок. В траурной рамке группа товарищей из города Долгова с глубоким прискорбием извещала читателей о трагической гибели члена КПСС с 1933 года, участника Великой Отечественной войны, видной общественной деятельницы пенсионерки Ревкиной Аглаи Степановны.

Я удивился, решив, что кто-то прислал мне текст из прошлых времен. Но перевернул листок, прочел слова: «Новое в Интернете», «Пейджинговая связь» и «Налоговая инспек» (конец слова отрезан), удивился еще больше. Кому нужно поминать членство в КПСС в наше-то время?

Неизвестный, отправивший мне извещение, очевидно, предполагал, что равнодушным оно меня не оставит, и был прав. Я давно не бывал в Долгове, не знал, что Аглая достигла столь преклонного возраста, и с трудом представлял себе, как она могла жить в наши дни. Я немедленно отправился в Долгов, поселился в бывшем Доме колхозника, ныне гостиница «Континенталь», и прожил там недели две, опрашивая разных людей, которые знали хоть что-нибудь о последних годах Аглаи, или Оглашенной, Оглоедки, – ее имя люди по-разному переиначивали, приспосабливая к характеру. Предыдущая ее биография была мне хорошо известна. Часть ее я изложил в «Чонкине» и в «Замысле». Повторяться не буду, но кратко напомню: будучи комсомолкой, юной и страстной, подправила документы, прибавила себе лет пять или больше и с головой окунулась в классовую борьбу. Верхом, в кожанке и с наганом носилась по здешней округе, богатых раскулачивала, бедных загоняла в колхозы. Потом заведовала детским домом, вышла замуж за секретаря райкома Андрея Ревкина, которым впоследствии пришлось пожертвовать ради высокой цели. Осенью 41-го года при входе в Долгов немецких войск Аглая взорвала местную электростанцию, откуда ее муж, закладывавший заряды, не успел выйти. «Родина тебя не забудет!» – крикнула она ему по телефону и сомкнула концы проводов.

Во время войны Аглая Степановна командовала партизанским отрядом, что было отмечено двумя боевыми орденами. После войны сама была секретарем райкома, пока ее не «съели» более хищные товарищи. Она вернулась на место довоенной деятельности и опять заведовала детским домом имени Ф.Э. Дзержинского. Где в феврале 1956 года ее и застало историческое событие, с описания которого пойдет наш рассказ.

Часть первая
Уплотнение

1

В феврале 1956 года, в день окончания XX съезда КПСС в долговском районном Доме железнодорожника местному партактиву читали закрытый доклад Хрущева о культе личности Сталина. Читал второй секретарь райкома Петр Климович Поросянинов, упитанный, краснощекий, лысый человек с толстыми, влажными, покрытыми белесой щетиной ушами – фамилия его очень ему подходила. Фамилии, кстати, в Долгове у многих людей были значащие. Там в какой-то период одновременно сосуществовали начальник милиции Тюрягин, прокурор Строгий, его заместитель Вороватый, судья Шемякин и заведующий отделом народного образования Богдан Филиппович Нечитайло.

Поросянинов читал медленно, громко чмокая губами, как будто ел вишни и выплевывал косточки. При этом шепелявил и запинался на каждом слове, особенно если оно было иностранного происхождения.

Поросянинов читал, члены партактива слушали молча, с напряженными лицами, толстыми шеями и затылками, стриженными под полубокс.

Потом докладчику были заданы вопросы: будет ли чистка партии и что делать с портретами Сталина, снимать ли со стен и выдирать ли из книг, как это делалось многократно с бывшими вождями революции и героями Гражданской войны? Поросянинов невольно повернул голову, покосился на портрет Сталина, висевший рядом с портретом Ленина, поежился, но сказал неуверенно: чистка не ожидается, и с портретами пороть горячку не следует. Сталин, хотя и совершил некоторые отдельные неправильные поступки, был и остается выдающим (так сказал докладчик) деятелем нашей партии и мирового коммунистического движения, и его заслуг у него никто отнимать не собирается.

Аглая Ревкина, испытав в жизни многое, к такому удару оказалась неподготовленной. Некоторые, выходя из клуба, слышали, как она, ни к кому отдельно не обращаясь, громко сказала:

– Какая грязь! Какая грязь!

Поскольку на улице в тот вечер никакой грязи не было, а было, наоборот, холодно, вьюжно и снежно, можно даже сказать – белоснежно, слова Аглаи никем не были восприняты буквально.

– Да, да, – поддержала ее Валентина Семеновна Бочкарева, плановик из Сельхозтехники. – И кому же мы верили!

Елена Муравьева (агентурная кличка – Мура) донесла об этом мимолетном диалоге местному отделению МГБ, и ее донесение было подтверждено самой Бочкаревой во время проведенной с нею беседы профилактического характера.

Но Бочкарева неправильно поняла Аглаю. Хотя о грязи было сказано в фигуральном смысле, но все же не в том, какой имела в виду Бочкарева.

Вернувшись домой, Аглая не могла найти себе места. Нет, не преступления Сталина, а критика его, вот что больше всего ее потрясло. Как они смели, как они смели? Она ходила по всем трем комнатам своей квартиры, хлопала себя маленькими жесткими кулачками по маленьким жестким бедрам и повторяла вслух, обращаясь к невидимым оппонентам: «Как вы смели? Кто вы такие? На кого подняли руку?»

«А вы, надменные потомки…» – выплывало из закоулков памяти давно как будто забытое…

В Бога она никогда не верила, но сейчас нисколько б не удивилась, если б у Поросянинова в процессе произнесения речи отнялся язык, или нос отвалился, или разбил бы его паралич. Слишком кощунственны были слова, произнесенные в Доме железнодорожника.

В Бога небесного она не верила, ее земным богом был Сталин. Его портрет, знаменитый, с раскуриваемой трубкой и зажженной спичкой у слегка опаленных усов, с довоенных времен висел у нее над письменным столом, во время войны кочевал с нею по партизанским лесам и вернулся на свое место. Скромный портрет в простой липовой рамке. В минуты сомнений относительно своих наиболее драматических поступков Аглая поднимала глаза к портрету, и товарищ Сталин, слегка прищурясь, с доброй мудрой усмешкой как бы внушал ей: да, Аглая, ты можешь это сделать, ты должна это сделать, и я верю, что ты это сделаешь. Да, ей приходилось в жизни принимать трудные решения, жесткие и даже жестокие по отношению к разным людям, но делала она это ради партии, страны, народа и будущих поколений. Сталин учил ее, что ради высокой идеи стоит пожертвовать всем и нельзя жалеть никого.

Конечно, она уважала и других вождей, членов Политбюро и секретарей ЦК, но они в ее представлении были все-таки люди. Очень умные, смелые, беззаветно преданные нашим идеалам, но люди. Они могли совершать ошибки в мыслях, словах или действиях, но только он один был недосягаемо велик и непогрешим, и каждое его слово, каждый поступок были настолько гениальны, что современникам и потомкам следовало воспринимать их как безусловно правильные и обязательные к исполнению.

2

Большая статуя Сталина стояла в центре Долгова на площади Сталина, бывшей Соборной, бывшей Павших Борцов. Она была установлена в сорок девятом году к семидесятилетию Сталина, по ее, Аглаиной, инициативе. Аглая была в то время первым секретарем райкома, но даже ей пришлось преодолевать противодействие. Все понимали, какое важное воспитательное значение мог иметь памятник, и никто не посмел прямо выступить против, но нашлись скрытые враги народа и демагоги, которые возражали, ссылаясь на состояние послевоенной разрухи. Они без конца напоминали, что в районе имеют место перебои с поставками продовольствия, народ бедствует, голодает и пухнет и еще не пришло время таких грандиозных и непосильных для местного бюджета проектов.

Одним из главных противников памятника был ответственный редактор газеты «Большевистские темпы» Вильгельм Леопольдович Лившиц. Он написал и опубликовал в своей газете статью «Бронза вместо хлеба». Где утверждал, что монументальная пропаганда – дело, конечно, важное, это Ленин еще подчеркивал, что дело важное, но имеем ли мы моральное право сегодня тратить на памятник столько денег, когда наш народ страдает? «Это чей же «наш» – «ваш»?» – в письме в редакцию поинтересовалась Аглая и там же разъяснила, что наш русский народ терпеливый, он еще туже затянет пояс, он временно перестрадает, зато памятник, воздвигнутый им, останется на века. Лифшиц в своем ответе сообщил, что народ у нас у всех есть один – советский, памятник необходим, но его можно воздвигнуть позже, когда в стране и районе улучшится экономическая ситуация. При этом имел наглость записать себе в союзники самого Сталина. Который, по словам Лившица, будучи мудрым и скромным, никогда не одобрил бы подобного расточительства в столь трудный для родины час.

Конечно, это была демагогия. Лившиц, несомненно, знал, и все знали, но вслух не принято было говорить, что экономическая ситуация нетрудной будет только при коммунизме. И что же, нам сложить руки и ничего не строить, не пилить, не шить, не строгать, не ковать и не ваять до наступления коммунизма? Не на это ли космополит без роду и племени Лившиц рассчитывал? Но просчитался. Вскоре он был изобличен в связях с международной сионистской и шпионской организацией «Джойнт» и понес заслуженное наказание. В тихий предрассветный час подъехал к дому Лившица автомобиль, называемый в народе «черным вороном» или «черной Марусей», и увез непрошеного ходатая за народ далеко от города Долгова.

Лифшиц был не одинок. Другие выражались не так прямо, но тоже намекали.

Преодолев сопротивление, Аглая добилась своего и памятник установила. Правда, не бронзовый, как предполагалось вначале, а чугунный. Потому что вагон с бронзой, выйдя однажды из города Южноуральска, до города Долгова никогда не дошел. А куда дошел, до сих пор не известно. Чему некоторые злопыхатели радовались. Может быть, радовался тому же, сидя на тюремной параше, Вильгельм Леопольдович Лившиц, но радость его была преждевременной. Враги Аглаю знали, но недостаточно. Недооценили ее волю к победе и того, что от своей цели не отступала она никогда. Она поехала в Москву, посоветовалась со скульптором Максом Огородовым и ему же сделала заказ на статую из ковкого чугуна.

3

Сталину исполнилось семьдесят лет в среду 21 декабря 1949 года.

На всю жизнь Аглая запомнила то темное, морозное и туманное утро, гранитный пьедестал и фигуру, укутанную в белое полотно и опутанную шпагатом.

Порывистый ветер трепал края полотна и вихрил сухой серый снег, который стлался и плыл тонким слоем низко над площадью. Несмотря на будний день, явилось все районное начальство – мужчины в одинаковых темных пальто и в пыжиковых шапках, а Аглая покрыла голову легким оренбургским платком. Кроме прочих, прибыл секретарь обкома Геннадий Кужельников в суконном пальто на ватине с каракулевым воротником, в каракулевой папахе и в сапогах с галошами фабрики «Красный треугольник». Начальник районного МГБ Иван Кузьмич Дырохвост выделялся кожаным пальто на меху и кожаной фуражкой. Председатели колхозов, все как один, были краснощекие, красноносые, в полушубках, в бараньих шапках и валенках. Присутствовал, разумеется, и создатель памятника скульптор Огородов, доставивший себя к месту события из Москвы в тонком демисезонном пальто с красным шарфом, в надетом набекрень темно-синем бархатном берете и в лакированных туфлях, к данным погодным условиям совершенно не подходящих. Привез Огородов с собой и жену Зинаиду.

В нашем повествовании Зинаида вряд ли будет играть слишком большую роль, но раз уж попала на эти страницы, отметим, что была она женщиной полной, властной, старше Огородова на четыре года, обладала хриплым прокуренным голосом и была такой матерщинницей, какие в те целомудренные времена попадались не так часто, как ныне.

Огородова еще до войны она нашла на помойке. Так она сама говорила. На самом деле не на помойке, а в малаховском общежитии. Где он жил, будучи никому не известным студентом, приехав в Москву из Костромы или Калуги. Вид собой являл, как говорится, зачуханный. Перебивался с хлеба на воду от стипендии до стипендии, имея в собственности только то, что на нем, в чемодане и сам чемодан, фанерный, крытый масляной краской зеленого цвета, что-то вроде патронного ящика с ручкой из гнутой проволоки толщиною в пять миллиметров.

Зинаида привела будущего скульптора к себе в коммуналку, где обитала с престарелой ворчливой матерью, отмыла его, отчистила и стала с ним жить. Вместе пережили нищету его студенческих лет. Огородов тогда лепил и сушил в духовке свистелки в виде петушков, волков, медведей и зайцев, а она торговала ими на Тишинском рынке. Ни о какой другой скульптуре речи не было – где, из чего, для кого и что он бы лепил? Зато после войны, когда он вернулся с четырьмя медалями, с красной нашивкой за легкое ранение и со значком «Гвардия», Зинаида стала его везде проталкивать как фронтовика, героя и гения. Оперируя его заслугами, обивала пороги, заводила нужные связи, но грани не переходила (а если переходила, то в исключительных случаях, для дела). Добилась Огородову членства в Союзе художников, отдельной студии, квартиры в деревянном доме. С дровяным отоплением, но без соседей. Делала для него все, и он сам признавал, особливо в подпитии: «Зинка, золото, без тебя я бы пропал».

Зинаида следила, чтобы муж всегда был одет опрятно, но с некоторой вольностью, достойной художника. Сама шила ему байковые широкие блузы и штаны, бархатные береты, в которых, как она считала, он походил на Рембрандта. Готовила рыбные блюда, веря, что в рыбе много фосфора, способствующего усилению интеллекта, таланта и мужской потенции. В конце концов у Макса появились более или менее сносные условия для работы. В этих условиях он собирался лепить петушков и медведей с еще большим размахом, но тут Зинаида его как раз и переориентировала, сказав, что он теперь должен лепить вождей.

Из вождей Макс выбрал, понятно, Сталина и вскоре в производстве статуй вождя достиг очень больших успехов.

4

Собравшиеся топтались под пьедесталом, представляя собой одновременно участников церемонии и зрителей. По причине недружелюбной погоды посторонних зрителей не было, и те, кто пришел, выглядели не как вершители торжественной политической акции государственного значения, а как нетерпеливые люди, что явились на скорую руку похоронить бедного родственника.

Памятник открывала лично Аглая Степановна. Немногочисленные свидетели потом вспоминали, что речь ее была четкой, твердой, без малейших признаков волнения, хотя, конечно, она волновалась.

– Товарищи, – начала она простуженным и прокуренным голосом и потерла замерзший нос, – сегодня все советские люди, все прогрессивное человечество отмечает славный юбилей нашего величайшего современника, мудрого вождя, учителя народов, корифея всех наук, выдающегося полководца, всем нам родного и любимого товарища Сталина.

Она говорила, и собравшиеся привычно рукоплескали ей, реагируя на ключевые слова. Она кратко изложила своим слушателям то, что они знали и без нее, выучив на еженедельных политзанятиях. Пересказала биографию вождя с упоминанием фактов о трудном детстве, раннем участии в революционном движении, в Гражданской войне, в коллективизации, индустриализации, ликвидации кулачества, разгроме оппозиции и, наконец, в исторической победе над немецким фашизмом.

Ей удалось в немногих словах выразить мысль об исключительной пользе и необходимости, особенно в наши дни, всех видов пропаганды, и тем более пропаганды зримой, крупной, монументальной, рассчитанной на века.

Этот памятник, сказала она, поставленный, несмотря на противодействие наших врагов, будет стоять здесь тысячи лет, вдохновляя на новые подвиги грядущих строителей коммунизма.

Эту фразу не пропустил мимо ушей Геннадий Кужельников. «Что она хотела сказать? – подумал он. – Что советский народ еще тысячу лет будет строить коммунизм? Глупая оговорка или вредительство?» Он не додумал еще своей мысли, когда Аглая объявила открытие памятника, вручила ему большие ножницы, какими стригут баранов. Кужельников, не снимая перчаток, взял ножницы двумя руками, сомкнул лезвия, и концы шпагата разлетелись, затрепетали на ветру. Покрывало стянули с большим трудом, потому что оно надувалось, как парашют, и вырывалось из рук. А когда его все-таки одолели, участники события слегка попятились, глянули на памятник, ахнули в один выдох и застыли.

Все эти люди, кроме Огородова и Зинаиды, ничего не смыслили ни в каком искусстве, а в скульптуре тем более, но даже они увидели, что перед ними не просто скульптура, а что-то необыкновенное. Сталин был изваян в полной парадной форме с погонами генералиссимуса, в шинели, слегка распахнутой, чтоб видны были китель и ордена, с правой рукой, поднятой, очевидно, для приветствия проходящих мимо народных масс, и левой, опущенной, со сжатыми в ней перчатками.

Сталин смотрел на собравшихся как живой. Смотрел сверху вниз, таинственно усмехался в усы и, как явственно всем казалось, помахивал правой рукой, шевелил левой и похлопывал перчатками по колену.

Макс Огородов сначала собственным глазам не поверил, а когда поверил, открыл широко рот и застыл с этим дурацким, можно сказать, выражением, словно сам немедленно очугунел.

Все последние годы лепил он Сталина, только Сталина, никого, кроме Сталина, но зато Сталина во всех видах: голову Сталина, бюст Сталина, Сталина в полный рост, Сталина стоящего и сидящего (только лежащего не лепил), во френче, в гимнастерке, в длинополой кава-

лерийской шинели, а в последнее время – в форме генералиссимуса. В своем деле он в конце концов так навострился, что мог слепить Иосифа Виссарионовича с закрытыми глазами.

Власти одобряли его как очень хорошего мастера, в совершенстве освоившего метод социалистического реализма. Его ценили, ставили в пример другим, поощряли морально, материально и комбинированно, награждая чинами, орденами, премиями, хвалебными статьями в газетах, включением его имени в энциклопедии, в списки выдающихся классиков и в списки получателей разных дефицитных продуктов питания. Но коллеги считали его крепким середнячком, холодным ремесленником, даже халтурщиком, и вообще, когда заходила о нем речь, говорили: «А, этот!» И махали рукой, не предполагая в нем Божьего дара и думая, что он и сам себе цену настоящую знает, делишки свои обтяпывает, а на высокое место в искусстве не зарится. И это была их большая ошибка. На самом деле, отдавая себе отчет в том, что делает чепуху, зарился, очень даже зарился скульптор Огородов на высокое место, зарился, может быть, на самый Олимп и не халтурил, лепя очередного Сталина, а творил, колдовал, священнодействовал. Каждый раз чуть-чуть менял осанку, наклон головы, прищур глаз и сомкнутость губ. Делая последние штрихи, отбегал подальше, подбегал поближе, иной раз закрывал глаза и по наитию, где-то что-то вминал, поджимал, подправлял, подковыривал ногтем в безумной надежде, что чудо произойдет вдруг каким-то случайным образом. Потом снова отбегал, подбегал, дышал на свое творение между сложенными в трубку двумя ладонями, – может, это смешно бы со стороны показалось, но он душу пытался вдохнуть в свое творение. Однако творение опять получалось безжизненным – не было в нем ни тайны, ни чуда. Огородов страдал, иногда даже плакал, дергал себя за редкие волосы, стукал кулаками по голове и обзывал себя бездарью, в чем все-таки был не прав: бездарен тот, кто бездарности своей не ощущает.

И эта скульптура, пока была в мастерской, тоже казалась Огородову заурядной, но теперь, возведенная на пьедестал (вот чего ей не хватало!), она ожила и смотрела вниз на всех и на своего создателя насмешливо и победно и с таким видом (в некотором смысле даже нахальным), будто сама себя сотворила.

– Боже! Боже! – не сводя глаз со статуи, бормотал пораженный создатель. – Он ведь живой, живой, ведь правда, живой? – спрашивал он сам себя, удивляясь, как же раньше этого не заметил.

– Успокойся! – сказала мужу Зинаида тихо, но властно и сунула в рот папиросу, мундштук которой заледенел сосулькой.

– Нет, – сказал Огородов, неизвестно что отрицая, и, протянувши руки к творению своему, крикнул: – Ну! – И еще раз: – Ну! Ну!

– Вы кому это? – высокомерно удивился Кужельников.

– Не вам, – отмахнулся Огородов, не проявив внимания к столь высокому чину. И снова крикнул: – Ну! Ну! Ну!

Стоявшие рядом с ним слегка оторопели и на всякий случай отступили от Огородова как от возможного психа, а он с воздетыми страстно руками шагнул к монументу и закричал ему:

– Ну, скажи что-нибудь!

Конечно, он не первый обращался с подобной просьбой к своему произведению. Задолго до него великий Микеланджело просил о том же сотворенного им Моисея. Но люди, собравшиеся на площади, не подозревая плагиата, переглянулись между собой, некоторые, впрочем, почтительно, полагая, что скульптор, может быть, не при своих, но на то он и художник. А поэт Серафим Бутылко приблизился к собрату по искусству, похлопал его по плечу и, дыша перегаром, чесноком и больными зубами, сказал с почтением:

– Действительно, как живой.

– Глупость! – возразил скульптор шепотом. – Что значит «как»? Он не как живой, он просто живой. Вы посмотрите: он смотрит, он дышит, у него изо рта пар идет!

Это было совершенно вздорное утверждение. Железные губы изваяния были плотно сомкнуты, никакой пар из них не шел. И не мог идти. Возможно, в каких-то неровностях имело место случайное снежное завихрение, но вот ведь не только скульптору – всем другим примерещилось, будто под железными усами действительно что-то клубилось.

Пока Огородов выкрикивал нечто бессвязное, жена его Зинаида, жуя опять погасшую папиросу, обдумывала свое ближайшее будущее. Она настойчиво продвигала Огородова в люди, но при этом предвидела, что, если уж он прославится и войдет в моду, завьются вокруг него молодые поклонницы-хищницы, и положение в хлопотах увядшей жены станет сразу же неустойчивым. А Огородов, не замечая переживаний супруги, скинул берет, швырнул его себе под ноги и с криками «Я оправдал свою жизнь!» стал топтать бедную тряпку так остервенело, словно она была виновата, что Огородов не оправдал свою жизнь раньше. «Оправдал, оправдал, оправдал свою жизнь!» – продолжал выкрикивать он, не понимая того, что жизнь, какая есть, дается нам без всяких обязательств и нет необходимости оправдывать ее особо громоздким способом.

Он топтал берет до тех пор, пока ветер, сжалившись над несчастной тряпкой, не вырвал ее у Огородова и не унес куда-то в мороз и в темень, а Огородов с непокрытой лысеющей головой опять воздел руки к памятнику и взмолился:

– Скажи, что ты живой! Подтверди, сдвинься с места, подай знак. Слышишь ты меня или не слышишь?

И тут случилось редкое в зимней природе явление: где-то далеко пророкотал гром, негромко, словно телега проехала по булыжнику.

Товарищи, стоявшие позади Огородова, все без исключения, были прожженные материалисты, никто из них официально не верил ни в Высший промысел, ни в нечистую силу, но чем сильнее они не верили официально, тем больше подозревали, что существует и то, и другое. Поэтому при звуках грома все инстинктивно вздрогнули и передние попятились, наступая на задних, а сверкнувшая молния, причем сверкнувшая совершенно без грома и в зимнем-то небе, и вовсе повергла присутствовавших в состояние полного оторопения. Молния сверкнула, и глаза у чугунного генералиссимуса засветились жадным оранжевым пламенем. Пламя задержалось в глазницах и медленно угасало, как бы втягиваясь вовнутрь. Тут некоторых участников церемонии обуял необъяснимый страх, они невольно вспомнили о своих прегрешениях перед женой, родиной, партией и лично товарищем Сталиным, вспомнили о растратах, взятках, недоплаченных членских партийных взносах и с мыслью о возможном возмездии завороженно застыли на месте. А когда оцепенение стало их отпускать, опять подал голос Серафим Бутылко. Решив ободрить себя и остальных, он заметил, что в природе еще случаются иногда необъяснимые научно явления.

– Да, – многозначительно отозвался секретарь обкома Кужельников, – бывают еще в некоторых районах такие необъяснимости. – И прошаркал галошами в сторону ожидавшей его «Победы», оставив участникам мероприятия возможность подумать, что бы значила его реплика и какой содержала намек. К тому, что район не относился к числу примерных? Но при чем же здесь природные явления? Природное явление само выбирает место своего явления и к руководящим районным органам за визой не обращается. Тем не менее высший партийный руководитель выразил недовольство, а младшие поняли, что дело идет к кадровым переменам. И кое-кого из собравшихся эта мысль обеспокоила, а в кого-то вселила надежду. И началась борьба, как тогда говорили, хорошего с еще лучшим, в результате чего Аглаю на ответственном посту сменил некто Василий Сидорович Нечаев, работавший до того парторгом на маслобойне. А Аглаю передвинули, как уже было сказано, в детский дом, воспитывать подрастающее поколение.

5

Обилие поэтов – признак дикости народа.

Так считал мой старший друг Алексей Михайлович Макаров по прозвищу Адмирал, о котором речь еще впереди. Когда он это сказал первый раз, мне показалось его утверждение вздорным, но он перечислил страны и части света, где люди погрязают в нищете и невежестве, иные не знают электричества и туалетной бумаги, однако имеют среди себя огромное количество акынов, ашугов, народных или придворных поэтов. Там власти трепетно относятся к поэтическому слову, и хороших поэтов (которые хорошо пишут о власти) щедро одаряют всякими благами, а плохим поэтам (которые плохо пишут о власти) отрубают голову. Риск остаться без головы иногда так сильно влияет на сознание, что порой плохие поэты пишут гораздо лучше хороших поэтов, стихи плохих поэтов люди переписывают в тетрадки, выучивают наизусть и передают из поколения в поколение. Хотя в Долгове воспитание поэтов проводилось по смягченной системе (не отрубали голову, но и жить не давали), количество стихотворцев на душу населения здесь явно превосходило объем насущных потребностей. Самым известным и крупным к концу сороковых годов был, конечно, наш мэтр и аксакал Серафим Бутылко, но он уже старел и устаревал во всех смыслах. Утратил спереди шесть верхних зубов, поседел, шаркал ногами, горбился, слабо владел метафорой, размер не выдерживал, рифмы употреблял убогие, затертые: «кровь – любовь», «свобода – народа», «хотеть – потеть», «гулять – валять». И это в то время, когда молодые смело овладевали корневыми, ассонансными, диссонансными, сложными и еще черт знает какими рифмами вроде «держава – держала», «береза – берлога», «пища – пуща», «атрибуты – на три буквы» и сногсшибательными образами и метафорами. Самым изощренным сочинителем широкого профиля был у нас Влад Распадов – поэт, искусствовед, эссеист, публицист и вообще одаренный разнообразно художник слова. В 1949 году, будучи еще учеником восьмого класса, он написал сочинение, посвященное этому памятнику. Работа была школьная, но настолько интересная, что ее поместила «Долговская правда». Эссе это называлось… точно сейчас не вспомню… «Мелодия, застывшая в металле». Или «Музыка, замерзшая в чугуне». Что-то в этом духе. Очень яркая была статья, образная, с глубоким подтекстом. О творении скульптора Огородова там было сказано, что оно не могло бы быть таким, какое есть, если бы не чудесное сочетание таланта автора и его неподдельной любви к прототипу, которые здесь слились воедино. «Глядя на это чудо, – писал Распадов, – трудно себе представить, что его лепили, или высекали, или вообще изготовляли каким-то физическим образом. Нет, это просто песня вырвалась, выдохнулась из души скульптора и застыла нам на удивление, приняв человеческий облик».

Статья Распадова, хотя не совсем корректная с точки зрения социалистического реализма, произвела впечатление на читателей, понравилась идеологическим органам, и Петр Климович Поросянинов, прочитав статью, сказал про Распадова: «Да, наш человек! – И, подумав, добавил: – Наш!»

Что же до Макса Огородова, то он, сотворив столь безусловный шедевр, сильно прославился, получил много казенных заказов, Сталинскую премию третьей степени, а потом второй степени, а потом первой степени, а жену Зинаиду, как она и опасалась, скоро сменил на новую, первой степени, бывшую восемнадцатью годами моложе. И конечно, сильно зазнался. Зазнавшись, утверждал, что превзошел всех современных ему скульпторов, даже Томского и Коненкова. А из ваятелей прошлого равными себе признавал только Мирона, Праксителя, Микеланджело и частично Родена.

Не будем отрицать, сотворенное Огородовым чудо было действительно чудо. Оно повергло в изумление даже самых искушенных, недоверчивых и ревнивых знатоков искусства. Ученые-искусствоведы специально ехали в Долгов не только в предвкушении двадцати шести

рублей командировочных в сутки, а желая увидеть своими глазами и убедиться. Один из них, убедившись, достал из кармана платок, промокнул им глаза и сказал: «Всё! Теперь можно и умереть». И никому не показалась эта реакция чересчур чувственной. Все видели, что памятник в самом деле отличался от других подобных излучаемой им таинственной силой. Он стоял посреди площади, к которой стекались со всех сторон большие и малые улицы. Но раньше они сходились здесь просто так, в результате многовекового хаотичного градостроительства. Теперь же каждым человеком ощущалось физически, что улицы эти и переулки притягиваются сюда силою необычайного исходящего от памятника магнетизма, а сам он является естественным центром города, больше того – таким центром, без которого город не может функционировать, как колесо без оси. Тому, кто бывал в Долгове в те времена, невозможно было себе представить, а как же этот город столько сотен лет мог вообще существовать без этого изваяния.

Толпы людей, местных и проезжающих, ходили смотреть и отмечали тот факт, что, с какой бы стороны человек ни очутился у памятника, слева или справа, чугунный вождь смотрел в его сторону, а зашедшему сзади казалось, что статуя видит его даже спиной. А уж прямой взгляд чугунного человека на любого наводил непонятный страх с переходом в леденящий ужас. Это касалось не только людей, но и животных более низкого класса. Даже голуби не садились на железную фуражку, хотя верх ее был круглым, плоским, удобным для взлета, посадки и отправления птичьих естественных надобностей. Кроме того, статуя (но это уж мелочи) никогда не подвергалась коррозии.

Слух о необычайном творении скульптора Огородова разошелся далеко, и однажды из Москвы специально прибыл в Долгов влиятельный член Политбюро посмотреть, не стоит ли перенести монументальный шедевр в Москву. Явившись на площадь в сопровождении Кужельникова, он посмотрел на статую и тоже испытал очевидное беспокойство, а придя в себя, сказал: «Не надо нам этого!» И опять дело кончилось кадровым вопросом. Кужельников был со своей должности снят и отправлен послом куда-то в Африку. Но и сам этот член Политбюро спустя короткое время куда-то сгинул, и именно из-за этой фразы: «Не надо нам этого!» Фразу передали Сталину, Сталин подумал, что имелось в виду – не надо нам этого – то есть самого Сталина, а не скульптуры, после чего член Политбюро исчез, имя его выпало из всяких списков, учебников, справочников и энциклопедий, и теперь даже историки не могут сказать достоверно, был он вообще когда-нибудь или нет.

Когда монумент устанавливали, мало кому казалось слишком смелым Аглаино предположение, что он будет стоять здесь тысячи лет. И уж совсем невозможно было себе представить, что дети, в тот год рожденные, еще не пойдут в первый класс, как покачнется почва и не под монументом, а под всем делом великого вождя.

6

Вернувшись домой после заседания партактива, Аглая не могла найти себе места. Выпила водки, потом валерьянки, потом опять водки. Ложилась, вскакивала, бегала по комнате, думала и не понимала, как же это все получилось. Произнесены слова, после которых нельзя жить по-старому или никак нельзя. Хрущев сказал, Микоян поддержал, Молотов, Маленков, Ворошилов, Каганович промолчали. Они же все были верные ученики и соратники товарища Сталина. Они клялись, что готовы жизнь за него отдать. Что с ними случилось? Сошли с ума? Оказались предателями? Все до одного? И другое возникло сомнение: а как же он? Такой мудрый, проницательный, всех видел насквозь, а их не раскусил?

Теперь ей припомнилось, что некоторые намеки на перемену отношения к Сталину были и раньше. Поросянинов еще в конце прошлого года явился к ней в детский дом и как бы мимоходом, но настойчиво посоветовал убрать висевший в вестибюле транспарант со словами «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство!». «Устаревший лозунг», – заметил он и многозначительно посмотрел на Аглаю. А когда она спросила, какой лозунг повесить взамен устаревшего, Петр Климович сказал, что можно этот же, но слова «товарищу Сталину» следует заменить на «Коммунистической партии» и весь текст читать так: «Спасибо Коммунистической партии за наше счастливое детство!»

– Длинно будет, – усомнилась Аглая.

– Длинно не беда, лишь бы политически выдержанно. – И, посмотрев на нее, добавил, что на жизнь надо смотреть реалистически, точнее, сказал: «Рылисисески».

Аглая поступила, как часто в подобных случаях. Пообещала транспарант снять, чего на самом деле исполнять не собиралась. Думала, что Поросянинов забудет, но он на другой день позвонил и спросил, сделала ли она то, о чем договорились. И, услышав, что не успела, твердо нажал:

– Не тяни!

И она подчинилась. Партийные указания были для нее законом. К тому же обстановка пока не определилась, и в ней две любви жили еще в полном согласии: любовь к Сталину и любовь к партии. Но теперь ее толкали на поступок, который уже никак, никакими теориями она оправдать не могла. Теперь все сказано ясно и до конца, и перед ней прямой выбор: остаться с партией или со Сталиным. Выбор невозможный, противоестественный. Сталин для нее был партией, партия была Сталиным. Партия и Сталин вместе были для нее народом, честью и совестью всей страны, ее собственной совестью тоже. Резкая, прямая, оглашенная, как, повторим, ее звали тогда, она привыкла идти напролом, но до сих пор ломилась туда, куда указывал Сталин, и это было легко и радостно. Теперь же ее путеводная звезда раскололась на две половины, на два отдельных светила, и каждое звало ее в свою сторону.

В ту же ночь она заболела, как сама потом говорила, на нервной почве, хотя вызванная соседкой врачиха сказала, что это просто грипп. Правда, грипп довольно вредный, занесенный к нам то ли из азиатских краев, то ли, что верней, из Америки. Где, как известно, в научных лабораториях специально выводят всякие вирусы и микробы, а также насекомых и крыс для травли доверчивых и беззащитных советских людей.

Уже к вечеру следующего дня температура поднялась выше сорока. Аглая металась в жару, тряслась в лихорадке, потела, теряла сознание, бредила. Когда бредила, ощущение наступало радостное с предвкушением чего-то необычайного, и не зря. В первую и во вторую ночи ее несколько раз посетил лично товарищ Сталин, живой, домашний и добродушный, в коверкотовом френче довоенного покроя и мягких хромовых сапогах. Он бесшумно открывал дверь, бесшумно проходил к ее кровати, садился в ногах, сосал трубку без дыма и ласково смотрел на Аглаю. Первый раз она, не разобравшись в обстановке, попыталась с ним заговорить, но

едва разомкнула губы, как он немедленно растворился в воздухе и пропал. При его следующих появлениях говорить не пыталась, молчала, и он молчал, но она чувствовала, что между ними происходит общение без слов, и это было даже лучше, чем со словами.

Потом, уже выздоровев, она держала в памяти ощущение, что состоялся между ними очень важный разговор, в чем была его суть, не могла припомнить, но понимала, что была ей открыта непреложная истина, такая истина, по сравнению с которой меркнут все слова и знания всего человечества.

7

Город Долгов был сам по себе город средний. Для районного великоват, до областного не дотягивал. Имел несколько заводов, трестов, комбинатов, магазинов, нефтебазу, автобазу, птицефабрику, райком, райисполком, прокуратуру, милицию, вытрезвитель и отделение КГБ. В самом центре, через площадь от райкома КПСС, не доходя до колхозного рынка, были даже остатки какого-то строения, которое называли кто кремлем, кто пассажем. Там в описываемое время располагались райкоммунхоз, ателье «индпошива», авторемонтная мастерская и магазин «Скобяные изделия». Неподалеку стояла церковь Козьмы и Дамиана, которую то закрывали в процессе борьбы с религией, то опять открывали из экономических соображений. Поскольку религия хоть и считалась опиумом для народа, но вносила в казну много денег. Впрочем, и настоящий опиум доходы приносит немалые.

Дом, в котором жила Аглая, был построен в сорок шестом году по ее указанию для районных номенклатурных работников. Они после войны нуждались в жилье больше, чем простые советские люди. Они, конечно, всегда нуждались больше. Чем дальше, тем больше, и чем меньше, тем больше. Но после войны нуждались особенно, потому что номенклатурные дома, как самые лучшие в городе, немцы уничтожили при отходе. Только особняк, в котором располагался детдом, уцелел по недосмотру германских властей.

Других приличных домов в городе не было, а в неприличных номенклатурным работникам было бы жить неприлично, но еще неприличнее – в коммуналке. И не только потому, что номенклатурные работники не умели сосуществовать в тесноте, но и потому еще, что тогда подробности их жизни стали б известны простым советским людям, а это не должно было случиться никак. Живя отдельно от других граждан, номенклатура тогдашняя (как и теперешняя) должна была казаться и казалась породой людей особых, неприступных, загадочных и овладевших всеми знаниями человечества. Им чужды наши страхи и слабости. Им понятны тайны нашего бытия. Они знают, что есть и что будет, но не знают никаких интересов, кроме неустанной заботы о благе отечества и нашем благополучии. А если им и нужны жизненные условия получше наших, то только и исключительно для того, чтобы они могли думать о нас, не отвлекаясь ни на что постороннее. А мы, думающие только о себе и своих мелких делишках, можем заниматься этим в любых обстоятельствах.

Дом, где жила Аглая, строили хороший, единственный во всем городе и с невиданными еще в здешних местах удобствами, с газом, горячей водой и даже с канализацией, которой в те времена никто еще в Долгове не видывал.

Тогда на окраинах города народ еще просто бегал до ветру, но поближе к центру население было покультурнее и пользовалось предназначенными для этой цели коммунальными сооружениями. В виде дощатых сарайчиков с двумя отдельными входами, двумя дверьми, часто сорванными с петель, на одной из которых было написано М, а на другой – Ж. В сарайчиках этих, естественно (молодые поколения, может, даже уже и не представляют), и на стороне М, и на стороне Ж деревянный пол украшался большими дырами, штук по двенадцать в ряд, и кучами, наложенными вокруг и вразброс, как будто обстрел производился не в упор, а из дальнобойных орудий с недолетом и перелетом.

Автор понимает, что описание этих сооружений выглядит не больно-то аппетитно, но надо же нам оставить свидетельства столь существенной стороны нашего быта. Иначе люди грядущих веков даже и представить себе не смогут эти дырки и эти кучи, залитые карболкой и засыпанные известкой, отчего летом запах был такой, что в носу сильно щипало, а глаза слезились так, словно в них швырнули горсть табаку. Запах этот выдерживали только советские люди и мухи, зеленые, большие, размером с полворобья. В жару здесь было слишком жарко, в мороз слишком морозно, а скользко – всегда.

Посетители высаживались в ряд, как стоящие на поле снопы, и с особым сочувствием вспоминаются старики, которые, страдая от артрозов, запоров и геморроя, тужились до посинения, хрипели, стонали и стенали, словно в родильном доме.

Алексей Михайлович Макаров по прозвищу Адмирал говорил, что, если бы от него зависело, какой памятник поставить нашей советской эпохе, он бы поставил его не Сталину, не Ленину и не кому-то еще, а Неизвестному Советскому Человеку, сидящему орлом на вершине высокой горы (пик Коммунизма), наложенной им же.

Однако вернемся в Аглаин дом. Его строили в плохое время, осенью, зимой и впопыхах. При бедной строительной технике. На очень слабом фундаменте, то есть почти без него. Установили в полуподвале газовый коллектор из двенадцати соединенных между собою баллонов. Коллектор был сконструирован местными рационализаторами и вызывал большие сомнения у начальника пожарной инспекции. Но Аглая топнула на него ногой, и пожарный начальник подписал акт приемки, оставив сомнения при себе.

Дом был кирпичный, но внутренние перекрытия – деревянные, причем дерево было (потом предполагалось вредительство) неважного качества, пораженное грибком. Аглаю тогда спрашивали, как быть, а она поощряла: стройте, стройте, вот на ноги станем, народ обеспечим, тогда в последнюю очередь позаботимся и о себе. По скромности она взяла себе на двоих с сыном трехкомнатную квартиру, хотя ей предлагали четырех. А она взяла только трех. С полезной площадью пятьдесят семь с половиной квадратных метров. Взяла временно, до окончания жилищного кризиса. Но жилищный кризис оказался вроде желанного горизонта. По мере продвижения вперед сам соответственно отодвигался. Кризис никогда не кончился, но особняки со временем были построены. Однако Аглае места ни в одном из них не нашлось – она к тому времени из номенклатуры выпала. К тому же после отъезда сына на учебу была фактически одинокой. Так и осталась одна в своих трех комнатах на втором этаже. Первая комната считалась гостиной, в ней был круглый раздвижной стол (никто его в жизни на раздвигал) и восемь дубовых стульев вокруг стола и диван-кровать для возможных (их у нее никогда не бывало) гостей. Посреди комнаты лежала шкура бурого медведя со стеклянными глазами и оскаленной пастью – подарок местных охотников. Две другие комнаты были – одна кабинетом, который во время секретарства ей полагался по чину, другая спальней. Все это было оборудовано громоздкой казенной мебелью: в спальне большая металлическая кровать с сильно прогибавшейся сеткой, в кабинете тяжелый двухтумбный дубовый стол, покрытый сукном, когда-то зеленым, а потом серым от пыли (за ним никто никогда не работал), дубовое кресло, настольная лампа под зеленым абажуром из стекла, тяжелый письменный прибор с бронзовой птицей и двумя каменными чернильницами с пересохшим нутром.

Коллеги Аглаи, которые из номенклатуры не выпали, дом этот постепенно покинули, их квартиры, немедленно превращенные в коммуналки, стали заполонять люди низших сословий, включая проживавших здесь вплоть до реабилитации двух профессоров: сельхознаук и – марксизма-ленинизма. Одно время здесь были прописаны также некий шекспировед, скрипачка с международным именем и врач-убийца Иван Иванович Рабинович. Так его почему-то называли, хотя он никого не убивал, был не врачом, а фельдшером, и не по человеческой части, а по ветеринарной. Тем не менее и он попал в число людей, которых советская власть сначала морила в лагерях, а затем распределяла по ссылкам, не давая селиться в больших городах. Да и маленькие выбирала, чтоб не ближе ста километров к столице. Таким как раз был город Долгов. Что ему явно пошло на пользу. В смысле среднего интеллектуального и культурного уровня. Который здесь поднялся, а в столицах, наоборот, опустился. Закон сообщающихся сосудов, оказывается, правилен не только для жидкостей. Жили в этом же доме учительница немецкого языка Ида Самойловна Бауман с престарелой матерью, настоятель церкви Козьмы и Дамиана священник отец Егорий с матушкой Василисой и сыном Дениской, самым хулиганистым из всех дворовых мальчишек. Еще обитало здесь семейство банщика Рената Тухватуллина в

количестве сам-шесть – он, жена и четверо детей в возрасте от четырнадцати лет до четырех, хромая, глуховатая и одноглазая кошатница Шурочка, по прозванию Шурочка-дурочка, а в комнате, примыкавшей к Аглаиной спальне, обитал в одиночестве тихий улыбчивый человек Савелий Артемович Телушкин, служивший когда-то в НКВД исполнителем приговоров. Служил он там много лет. За время службы лично расстрелял 249 (он помнил цифру) человек по одиночке и еще многих как бы в общем бою (например, участвовал в расстреле польских офицеров), но с ума не сошел, угрызений совести не испытывал, сомнениями не мучился, и сны ему снились тихие, идиллические: луга, ромашки, коровы и первомайские демонстрации.

Ясно, что за время существования дома внутри его постоянно происходили перемещения, люди вселялись и выселялись, меняли одно жилье на другое, помирали, уходили в армию или в тюрьму, и всех не упомнишь, кто когда проживал по данному адресу.

Среди прочих следует запомнить и отметить особо – дворничиху Валентину Жукову с сыном. Валентина была крупная женщина с широким лицом и широкой покатой спиной. Ходила неуклюже носками внутрь, руки держала на весу, выставив их немного вперед, как будто собралась с кем-то бороться. При такой, казалось бы, очевидной несоблазнительности ее облика в молодости она пользовалась большим успехом у мужчин, из которых выбрала себе в мужья Серегу Жукова, гармониста, балагура и баламута. Серега в самом начале войны, не дожидаясь призыва, ушел добровольцем на фронт. Валентина часть военного времени провела в Аглаином партизанском отряде, где отличалась необыкновенной силой и храбростью. Однажды в рукопашном бою она двух немцев сначала кулаком свалила в нокаут, а потом связала вместе и притащила в отряд в качестве пленных. После войны Валентина некоторое время была у секретаря райкома Аглаи Ревкиной шофером. А потом ради комнаты в полуподвале перешла в дворники. Мужа у нее уже не было. Серега с войны не вернулся и был зачислен в пропавшие без вести. Поскольку не было никаких доказательств, что он не сдался врагу живым, здоровым и с оружием в руках, пропавший считался предателем, а Валентина – женой предателя. Поэтому не только пенсии за мужа не получала, но и партизанской медали за собственные заслуги не удостоилась. Одна, как могла, растила сына. По старому знакомству Аглая иногда нанимала Валентину убрать в квартире, постирать белье, сбегать в магазин, что дворничиха и делала за небольшую плату. Сына Валентины, между прочим, звали Георгий Жуков, точно так же, как знаменитого маршала. Этот Георгий Жуков (или попросту Жора) тоже служил в армии, но до маршала не дослужился. Дослужился только до звания младший сержант. По упущению начальства он, несмотря на провинившегося перед родиной отца, служил танкистом в Венгрии, откуда привез аккордеон, на котором по воскресеньям играл вальсы «Дунайские волны», «На сопках Маньчжурии» и танго про утомленное солнце. Играл сперва во дворе, а потом был приглашаем на свадьбы и юбилеи.

Само собой, между жильцами временами проистекали скандалы по поводу разбитого окна, шума после двадцати трех часов, очереди в уборную, мытья полов и уборки мусора. Но Аглаи это не касалось, она жила отдельно, уборную и кухню имела свою, в споры ни с кем не вступала. Соседи ее побаивались, кроме, может быть, Шурочки-дурочки. Она (так считалось) обладала даром предвидения. Обладала или нет, но пророчить пыталась и, встречая Аглаю, каждый раз предрекала гнусавым голосом, что вспыхнет огонь, полетят железные птицы, поскачут железные кони, задрожит земля и мертвый упадет на живого.

8

Пятого марта Аглая Степановна проснулась от нестерпимо яркого солнца с ясной головой и чувством, что здорова, а посему пора вставать, жить и работать. «Все, – сказала она вслух, по привычке обращаться к себе сурово, – нечего залеживаться и симулировать». Натягивая чулки, вспомнила: сегодня день смерти Иосифа Виссарионовича – и сама себя обозвала дурой, что чуть эту дату не пропустила. В этот день она в прошлом и позапрошлом году посещала памятник с маленьким букетиком герани, специально выращиваемой на подоконнике. Вышла на улицу с таким же подарком и сегодня и увидела, что – весна. Только что выпавший пухлый снег искрился на солнце, подтаивал, проседал, оплывал с пригорков, обнажая покрытую облезлой травою почву. Дороги потемнели, текли по краям, из-под крыш падали и с треском разбивались сосульки. По пустырю перед домом, подпрыгивая, ходили черные то ли галки, то ли вороны (Аглая разницы между ними не видела, но тех и тех ненавидела), а у дома на лавочке сидели такие же черные старухи (тоже довольно противные), нахохлившись, словно птицы. Количество старух перед домом менялось, но две из них сидели там постоянно, одну из них звали баба Надя, а другая, греческого происхождения, была известна под кличкой Гречка. Они сидели на лавочке перед домом всегда, многие годы, может быть, даже целую вечность. Казалось, они никогда не рожались и никогда не умрут, никогда не были молодыми, а всегда были такими, как есть, и как сидели, так сидят и будут сидеть всегда. Они сидели и смотрели на протекавшую перед глазами жизнь, как на бесконечную, говоря нынешними словами, мыльную оперу. Не слушая радио и не читая газет, они знали все про всех, живших в городе Долгове, и частично про обитавших в окрестностях: кто выиграл по облигации, кого посадили за растрату, у кого мужа увезли в вытрезвитель, у кого родилась двойня, чья теща попала под поезд, где случился пожар или кого пырнули ножом. Эти сведения они получали, постоянно опрашивая всех проходящих мимо, где-что-чего, но до многого и своими головами додумывались. Если в поле их зрения попадал незнакомый им человек, старухи включали свой интеллект и непонятно каким образом определяли близко к истине, кто он, откуда куда идет, чем занимается и какие имеет намерения. Иногда просто так отмечали, что в прошлый понедельник перед обедом мимо прошел человек в шляпе. Сейчас они тоже сидели на лавочке, смотрели перед собою на снег, на солнце, на игравших и шумевших детей. Увидели мужчину и женщину, которые, совершенно им незнакомые и ничем не примечательные, проходили мимо, осмотрели их внимательно, и, когда они удалились, баба Надя спросила Гречку:

– Как ты думаешь, он с ей живет?

– Да кто знает, – сказала Гречка. – Думаю, что живет.

– Должно быть, живет, – со вздохом согласилась баба Надя, очевидно этого сожительства не одобряя.

– Казаки, – шамкала беззубо старуха Бауман, качая головой, закутанной в пуховый платок, – это такие люди, что ой. Они таки никого не жалели. Моя сестра Мира была беременная, так они ей сказали, мы тебе сейчас устроим роды, и стали плясать у нее на животе, и у нее был выкидыш, а сама она осталась живая, но стала совсем самашечая.

Баба Надя и Гречка слушали и сочувствовали, прощая рассказчице на время распятие Христа и мацу, замешанную на крови христианских младенцев. Рассказ о казаках был прерван появлением Аглаи, которая, выйдя из подъезда, остановилась и зажмурилась, ослепленная солнцем. Она была в черном пальто, в черных сапогах, в заломленном набекрень черном берете с хвостиком и сама лицом черная, как цыганка, черная, как эти старухи и как галки или вороны на поле. Она посмотрела на старух презрительно, ибо никогда не любила людей, сидевших без дела, и, не сказав им хотя бы «здрасьте», быстро и легко, как будто и не болела,

зашагала прочь со двора. При ее появлении старухи затихли и присмирели, а когда она удалилась, баба Надя сказала:

– Ишь какая кувыка!

– Да уж, – подтвердила Гречка, хотя что такое кувыка, ни та, ни другая, если их спросить, объяснить не смогли бы.

Аглая покинула двор и пошла по твердой еще, оледенелой и оплывавшей на солнце тропинке через пустырь, шла быстро, легко, радуясь свету, и цвету, и запаху весны, сама не понимая причин столь острого чувства. Это понимал организм. Организм знал, что болезнь была серьезной, Аглая выздоровела чудом, и теперь каждая клеточка организма радовалась счастливому продлению своей жизни.

9

Комсомольский тупик своим нетупиковым концом выходил на улицу Розенблюма, а та выливалась на проспект Сталина, недалеко от площади Сталина.

Памятник стоял лицом к зданию райкома КПСС, когда-то такого родного. Сюда в свое время Аглая приходила (точнее, приезжала, ходить ей должность не позволяла) как к себе домой. Милиционер у входа вытягивался и отдавал ей честь, секретарша в приемной вскакивала и поправляла прическу, а попадавшиеся в коридорах толстые мужчины из местных начальников прижимались спиною к стене и, распространяя запах чеснока и сивухи, широко раскрывали рты, набитые золотом или металлом попроще. Они улыбались или даже смеялись, трясли животами, показывая, как счастливы они ее видеть, и некоторые изображали что-то похожее на реверанс.

Здесь Аглая в свое время занимала самый большой кабинет со стенами, отделанными ореховыми панелями, со многими телефонами. Здесь, в сизом папиросном дыму, она, похожая на неистовую Пассионарию, сидела за обширным столом под портретами Ленина и Сталина. Сюда вызывала отличившихся в труде, но их было всегда меньше, чем провинившихся, а на последних стучала кулаком, рявкала и крыла их матом. Здесь перед ней, бывало, мужчины больших должностей и крупного телосложения дрожали, потели, заикались, хватались за сердце и теряли сознание. Был случай, когда один из них самым натуральным образом наложил в штаны, а другой, директор совхоза, пропивший полугодовой совхозный бюджет, не найдя объяснения, как ему это удалось, рухнул, тут же пораженный инсультом.

С большой властью расставаться так же трудно, как и с большим богатством. Неприятно и даже унизительно ходить пешком там, где тебя возили на машине, да с ветерком, с шумом, с рявканьем клаксона: остановитесь, уступите дорогу, разве не видите – Ревкина едет? Трудно привыкнуть к тому, что нельзя направо и налево приказывать: подать, принести, отнести, положить, доложить. Непривычно не видеть на лицах встречных льстивых улыбок, а в глазах вопроса и подобострастия. Но постепенно Аглая привыкла к своему невысокому положению, утешаясь тем, что и сделала в жизни немало хорошего. И колхозную систему внедряла, и в разгроме оппозиции участвовала, и партизанила, и восстанавливала район из руин, но самой большой своей заслугой, венцом своих усилий считала установление памятника, без которого город просто не был бы тем, чем он был.

А райком, что ж… был своим домом, стал чужим. Делать ей было в нем нечего. И сейчас шла она не к нему, а к Сталину. Но задержалась у аллеи Славы, располагавшейся как раз перед райкомом. Первой приметной вещью на аллее была Доска почета, где в два ряда были вывешены портреты героев труда и ударников производства: знакомых Аглае передовых председателей колхозов, агрономов, врачей, учителей, доярок, трактористов, рабочих патронного завода, картонажников и ниточников, то есть работников картонажной и ниточной фабрик. Здесь же среди прочих висел портрет и самой Аглаи Степановны, поскольку возглавляемому ею детскому дому в прошлом году было вручено переходящее Красное знамя. А за доской находилось то, благодаря чему аллея получила свое название, – могилы славных борцов за наше будущее и настоящее. Начиная с красного комиссара Матвея Розенблюма. Который когда-то, прибыв сюда на бронепоезде «Решительный», объявил народу окончательное установление в этих местах новой власти, после чего был немедленно застрелен эсером Абрамом Циркесом. Что и послужило причиной временного увековечивания имени Розенблюма в названии одной из центральных улиц. Хотя впоследствии, когда стало можно шутить, некоторые шутили, что увековечить следовало Циркеса, попал-то ведь он. После Розенблюма здесь располагались в два ряда, как на Доске почета, жестяные обелиски со звездой и каменные надгробья героев Гражданской войны, Великой Отечественной войны, финской кампании и суро-

вых боев мирного времени. В самой середине ряда под именем Афанасия Миляги покоились кости мерина Осоавиахима, едва не ставшего человеком (кто читал «Чонкина», знает). Рядом на очень замшелом и заплесневевшем камне надпись гласила обманчиво: «Андрей Еремеевич Ревкин. 1900–1941. Совершил акт самопожертвования. При подходе немецко-фашистских захватчиков взорвал важный промышленный объект и сам погиб при взрыве».

Люди, которые случайно сюда приходили, склоняли над камнем головы или не склоняли, а просто стояли в раздумье, полагая, что здесь действительно покоится герой, совершивший выдающийся подвиг. На самом же деле здесь не лежал никто. Потому что найти труп Ревкина после взрыва не удалось, тем более что никто не искал, тем более что искать было нечего, поскольку в результате взрыва вся электростанция была разнесена на куски, а неразнесенное выгорело, а если бы и не выгорело, то кто в условиях немецкой оккупации мог бы разыскивать трупы на территории станции и с почестями захоранивать? Чушь какая-то, да и все. Аглая, конечно, знала, что здесь никто не лежит, или должна была знать, но мозги идеологически ориентированного человека так устроены, что, зная одно, он верит в другое. И Аглая знала, что Ревкин здесь не лежит, но верила, что лежит.

Снег подтаял и сполз вниз, обнаживши покрытые жухлой травою горбушки могил. Аглая постояла у могилы, пообещав мысленно тому, кто здесь не лежал, что в начале лета вернется, прополет старую траву и посеет новую.

Дальше маршрут ее движения был прямой и короткий.

Подойдя к памятнику, она сначала положила цветы к пьедесталу, а потом отошла назад, подняла голову и только сейчас увидела, что здесь что-то не так. Сталин стоял на прежнем месте, в прежней позе, с привычно поднятой правой рукой, но взгляд у него был грустный, осанка изменилась, словно он как-то (не может этого быть!) ссутулился. А на фуражке его – вот что было невероятно! – миловались и ворковали два сизых, жирных, отвратительных голубя. Казалось, что тут особенного, чего можно требовать от этих безмозглых тварей, никаких памятников они не избегали. Но ведь этот памятник отличался от всех прочих, и они сами его отличали. За все время ни одна птица не смела тронуть статую ни ногой, ни крылом. Был случай, единственный, – ворона с коркой хлеба села на фуражку, но не успела еще коснуться поверхности, как, выпустив пищу, с диким криком отлетела в сторону и камнем грянула на асфальт. С тех пор уж точно ни одна крылатая тварь даже и не пыталась использовать статую как посадочную площадку. И вдруг – эти глупые птицы! Как они поняли, что теперь можно и садиться сюда, и гадить? И уже покрыли верх фуражки белым пометом, потеки которого были видны на козырьке, на левом плече и на отвороте шинели.

– Кыш! – закричала Аглая слабым голосом. – Кыш, вы, проклятые!

Но проклятые на ее крик реагировали самым пренебрежительным образом. Более жирный, очевидно самец, наклонил голову, скосил один глаз на Аглаю и, повернувшись к голубке, что-то проворковал ей, а она в ответ ему тоже что-то забулькала. У Аглаи было такое ощущение, что они просто над нею смеются. Она посмотрела вокруг, нет ли под ногами какого-нибудь камня, нашла серую гальку размером с яйцо и размахнулась. Камень ударился о левое голенище, упал перед постаментом, и, проследив за его падением, Аглая только сейчас увидела на снегу рядом со своей геранью жалкую, бедную, одинокую веточку желтой мимозы. Забилось радостно сердце. Значит, не одна она в этом городе помнит и чтит дорогого, любимого, единственно незаменимого.

– Да, – услышала она сзади тонкий вкрадчивый голосок, – есе не все всё забыли. Люди любят зелезо, птицы любят зелезо, но когда зелезо будет падать, птицы взлетят, а люди летать не умеют. Они тязелые, клыльев нет и тязелые, они летать не умеют, и зелезо упадет на зелезо.

Аглая обернулась. Шурочка-дурочка в плюшевой куртке, сверху закутанная в мешковину, смотрела на Аглаю безумным загадочно мерцающим глазом.

– Что ты мелешь! – возмутилась Аглая. – Какое железо? Куда будет падать?

– Люди летать не умеют, – убежденно повторила Шурочка. – А зелезо падает свелху вниз.
– Отзынь! – сказала Аглая и пошла прочь быстрым невихляющим шагом.

10

Детский дом помещался в старинном особняке с шестью колоннами, принадлежавшем когда-то предводителю местного дворянства. Судя по общей обветшалости фасада и облупленности колонн, дом с тех пор ни разу не ремонтировался. Но зато был одним из немногих ценных строений, не поврежденных войной.

Преодолев две тяжелые двери, Аглая вошла в вестибюль, и первое, что бросилось ей в глаза, была стенгазета «Счастливое детство». Света Журкина, ученица седьмого «Б» класса, стояла возле газеты и, высунув язык в сторону левого уха, переписывала что-то себе в тетрадку. Увидев Аглаю, поздоровалась, смутилась, закрыла тетрадку и отошла.

Поведение ученицы показалось Аглае подозрительным. Она приблизилась к газете и обомлела. Стихотворный текст, который не успела переписать Журкина, был в третьем столбце, после передовой, посвященной вопросам трудового воспитания молодежи.

Стихотворение, никем не подписанное, называлось «А мы так верили в тебя». В нем содержались упреки некоему полководцу, фамилия которого не указывалась, но всем было ясно – какому. Говорилось, что полководец вел нас от победы к победе, но при этом, пользуясь нашим безграничным доверием, творил очень нехорошие дела. Заключительная строфа выражала глубокое разочарование автора в своей былой приверженности полководцу, но тут же выражалась оптимистическая надежда, что в будущем все будет не так. Строфа завершалась полемическим вопросом: «Бывает гладко все не разом при штурме новой высоты. Я верю в коллективный разум, я верю в партию. А ты?»

Полоса со стихами была приклеена плохо – очевидно, картошкой. Или клейстером. Или просто слюной. Аглая схватила бумагу за отвалившийся угол, сорвала ее и, сжав как змею, быстро пошла к себе в кабинет. Секретарша Рита, щурясь в маленькое зеркальце, выщипывала пинцетом брови. Увидев вошедшую, вскочила.

– Здравствуйте, Аглая Степановна. Выздоровели?

– Выздоровела, – пробурчала Аглая. – Шубкин где?

– Только что тут крутился. Кажется, пошел в общежитие проверять у девочек заправку постелей.

– Пусть зайдет ко мне, – приказала она и скрылась в кабинете.

Швырнула бумагу на пол. Подняла. Положила на стол. Опять швырнула и опять подняла. Сняла пальто и стала быстро из угла в угол расхаживать по кабинету. Но тут же притомилась, запыхалась и вспотела. Все-таки была еще слаба. Услышав голоса в приемной, села за стол и изобразила на своем лице каменное выражение.

Марк Семенович Шубкин был человек лет пятидесяти, крупный, полнеющий и лысеющий, со свежим цветом лица, какой бывает у сельских жителей и заключенных. Похожий, между прочим, на Ленина. Ростом намного выше, но, как и Ленин, с преогромнейшей головой шестьдесят, как он сам уверял, шестого размера.

Работал он воспитателем в группе дошкольников и в порядке общественной нагрузки редактировал стенную газету. Ему эта работа была доверена неосмотрительно. Добровольно вести газету никто не хотел, а он, дорвавшись, без конца печатал в ней свои стихи и заметки. Что могло бы считаться для газеты немалой честью. В Долгове были свои поэты – Бутылко, Распадов и прочие, но выше областной печати им подниматься не доводилось, а Шубкин в тридцатых годах печатался (ого где!) в «Известиях», в «Комсомольской правде» и в «Огоньке».

– Подойдите к столу, – велела Аглая, не отвечая на приветствие Шубкина. – Кто написал эту пакость? – Ее губы искривились в брезгливой гримасе, а глазами она показала на свернувшуюся спиралью полоску бумаги.

Шубкин протянул руку, но бумагу не взял, передумал.

– Я вас не понял, – сказал он и смиренно посмотрел на Аглаю.

– Я вас спрашиваю, – постукивая по столу пальцами, повторила она, – кто написал эту пакость?

– Вы имеете в виду эти стихи? – спросил он, поощряя ее к исправлению терминологии.

– Я имею в виду эту пакость, – стояла на своем Аглая Степановна.

– Эти сти-ти-тихи, – Шубкин от волнения заикался, – написал я.

– И кто же вам позволил написать эту пакость? – повторила она с непреклонной враждебностью.

– Эту па-акость мне па-азволила написать па-артия, – сказал Шубкин, бледнея, и выпятил грудь.

– Ах, па-па-а-артия, – передразнила Аглая. – Партия позволила. Нет, дорогой друг, партия тебе еще пока не позволяет всякую дрянь писать и спекулировать на теме. Я с этой дрянью вот что сделаю, вот. – И полетели на пол клочья бумаги. – Если ты думаешь, что на Двадцатом съезде была отменена генеральная линия, то ты неправильно понимаешь. Партия вынуждена была пойти на некоторые поправки, но сомневаться в главном мы никому не позволим. Сталин как был, так и есть – ум, честь и совесть нашей эпохи. Был и есть. И все, и ничего более. И если о нем там кто-то что-то может сказать, это не значит, что каждому будет позволено. Надо же! – Она постепенно успокаивалась. – Каждый пишет чего ни попадя. «Верю в коллективный разум». Верующий какой нашелся! Ты вот, если такой сатирик, написал бы про мусорные бачки. Стоят, понимаешь, без крышек, а от них вонь, антисанитария, мухи. Сколько можно говорить, чтобы сделали крышки? Я завхозу два выговора влепила, скоро третий вломаю, строгий с предупреждением, а он хоть бы хны. Вот, если ты талант, сатирик, возьми и ударь сатирой по мусорным бачкам.

Шубкин побледнел еще больше, напыжился:

– А я не хочу ударять сатирой по ба-бачкам. Я хо-хочу сатирой ударить по Ста-та-та…

– Все понятно, – поставила точку Аглая. – Вы уволены. Завтра расчет в бухгалтерии.

11

Между прочим, она этого типа раскусила давно. Еще когда он пришел наниматься на работу. У нее тогда не было учителя литературы, а этот подкатился. С красным дипломом ИФЛИ, Института философии и литературы, того самого, где учились еще до войны многие наши выдающиеся личности, включая поэта Твардовского и секретаря ЦК комсомола Шелепина.

– Надо же! – удивилась Аглая, разглядывая диплом. – Какие люди осчастливили наше захолустье!

В Долгове по причинам, изложенным выше, встречались люди с высшим образованием, но с таким все же встречались нечасто.

– А где же вы после института работали?

– На лесоповале, – сказал Шубкин просто.

– Почему? – спросила она и тут же поняла, что глупость сморозила, чего уж тут спрашивать.

И пока он молол ей что-то невнятное о необоснованных репрессиях и перегибах, она все решила.

– Понятно, – перебила она. – А почему вы, собственно, к нам?

– Ну, во-первых, потому, что увидел объявление, во-вторых, у меня подходящее образование, и в-третьих… – он выдержал паузу и закатил немного глаза, – я очень люблю детей.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.